

ДВА ЭССЕ

ГОЛУБОЕ СУКНО

Леонтий Васильевич Дубельт всю жизнь поздно ложился, рано вставал, много действовал. А на последнем отрезке стажа: 1839 — 1856, когда занимал сразу две должности — военную (начальник штаба Отдельного корпуса жандармов) и штатскую (управляющий Третьим отделением Собственной Его Величества канцелярии), — был, наверное, самый трудящийся в России человек, уступая в этом смысле разве только императору.

Понятное дело, уставал — но жаловался единственно супруге, Анне Николаевне, — и она среди хозяйственных забот в селе Рыскино Тверской губернии беспокоилась за него страшно:

«Не могу выразить тебе, Левочка, как стесняется сердце читать о твоих трудах, превосходящих твои силы. Страшно подумать, что в твои лета и все тебе не только нет покою, но все труды выше сил твоих. Что дальше, ты слабее; а что дальше, то больше тебе дела. Неужели, мой ангел, ты боишься сказать графу, что твои силы упадают и что тебе надо трудиться так, чтобы не терять здоровье. Хоть бы это сделать, чтобы не так рано вставать. Хоть бы ты мог попозже ездить с докладом к графу — неужели нельзя этого устроить?»

Пока ты был бодр и крепок, хоть и худощав, но ты выносил труды свои; а теперь силы уж не те — ты часто хвораешь, а тебя все тормозат по-прежнему, как мальчишку. Уж и то подумаешь, не лучше ли тебе переменить род службы и достать себе место поспокойнее?

Мне как-то делается страшно и грустно, что такая вечно *каторжная* работа, утомляя тебя беспрестанно, может сократить неограниченную жизнь твою».

Женская слабость — какое там простительная — приятная: должен кто-то жалеть и Дубельта, не то для чего же и брак. Хотя про место поспокойней он прочитает — Анне ли Николаевне не знать? — с улыбкой. Кто-кто, а она-то в курсе, ради чего он жертвует своим покоем, не говоря уже о воле. И ценит, как подвиг. А побранивает больше для биографов из будущего века — чтобы лучше представляли себе его ненормированный рабочий день и вообще расписание:

«Мне не нравится, что тебе всякий раз делают клестир. Это средство не натуральное, и я слышала, что кто часто употребляет его, не долговечен; а ведь тебе надо жить 10 тысяч лет. Берс говорил Николеньке, что у тебя делается боль в животе от сидячей жизни. В этом я отнюдь не согласная. Какая же сидячая жизнь, когда ты всякой день съездишь к графу с Захарьевской к Красному мосту, — раз, а иногда и два раза в день; почти всякий вечер бываешь где-нибудь и проводишь время в разговорах, смеешься, следовательно, твоя кровь имеет должное обращение. Выезжать еще больше нельзя; в твои лета оно было бы утомительно. — Летом ты через день бываешь в Стрельне... а в городе очень часто ходишь пешком в канцелярию...»

Как видим, среди многообразных обязанностей Л. В. главная, наипервейшая, ежедневная была — с утра пораньше съездить к графу. К графу Бенкендорфу, пока он (1844) не умер, а с тех пор — к графу Орлову. Прибыть, невзирая на состояние атмосферы и собственного здоровья. И доложить, что нового в стране и в мире.

То есть он работал рассветной такой Шахерезадой у начальника III отделения и (тоже по совместительству) шефа жандармов. А тот, в свою очередь, — у царя, у Николая Павловича, — но лишь два раза в неделю, так что сюжеты приходилось выбирать, и тут граф (что один, что другой) тоже без Л. В. был бы как без рук.

Телевидения-то не существовало. Из отечественных средств массовой информации государь пользовался одной лишь «Северной Пчелой» — и не оттого что интересовался: какой, дескать, образ мыслей нынче предписан верноподданным? — а скорей из любопытства обывательского, как если бы это была не газета, но волшебный горшок с антенной, уловляющей запахи столичного общепита.

Ну вот. А доклады «от полис» («haute police» — высшей полиции) представляли собой независимый сериал. Типа «Вести — дежурная часть», или «Момент истины», или «Совершенно секретно». Только без видеоряда.

Благодаря Дубельту и его графам, император почти до самой смерти — загадочно скоропостижной — наслаждался чувством постоянного контакта со своей эпохой и страной. А также бесперебойным эффектом обратной связи: непорядок — сигнал — всеподданнейший доклад — высочайшая резолюция — порядок.

Леонтий Васильевич, таким образом, функционировал как выпускающий редактор — или как называется тот, кто ведаёт корреспондентской сетью, собирает и сортирует материал, — и одновременно как сценарист: в соавторстве с одним графом, а потом с другим оттачивал драматургию эпизодов, композицию передачи, дикторский текст, и все такое.

Он же обеспечивал интерактивность — воплощал в жизнь августейшие резолюции. Положим, не воплощал (аппарат-то на что?) — скорей, озвучивал, с особенной охотой — перед фигурантами дел персональных. Изобрел для таких случаев оригинальную, неотразимо обаятельную манеру; ею-то, собственно говоря, и прославился.

Львиная доля времени уходила, однако, на работу черновую, оперативную, противную.

Тридцать три, что ли, секретных агента в обеих столицах, в том числе одиннадцать — женского пола. Студенты, приказчики, светские дамы, проститутки, литераторы, помещики. Почти все — алчные, наглые фантазеры, ни единому слову верить нельзя. У каждого — свои собственные информаторы, обычно из прислуги, как правило — пьянь.

Плюс в каждом из восьми жандармских округов — отдельная сеть. И на каждые две-три губернии — специальный штаб-офицер, от него тоже ожидают сообщений, у него тоже источники.

Да с полдюжины шпионов за границей.

Плюс — главное! — народная самодеятельность: доносы, прошения, жалобы. Штук полтыщи в месяц.

Просят, например, о:

разборе тяжёлых дел вне порядка и правил, установленных законами;
помещении детей на казенный счет в учебные заведения;
причислении незаконных детей к законным вследствие вступления родителей их в брак между собою;
спонсорской поддержке всевозможных творческих проектов;
беспроцентной ссуде: скажем, 300 рублей на 10 лет, под собственное ручательство пресвятыя Богородицы.

Жалуются, например, на:

нарушение супружеских обязанностей;
обольщение девиц;
неповиновение детей родителям;
злоупотребление родительской властью;
неблаговидные поступки родственников по делам о наследстве;
а также помещики на крестьян, и обратно.

Доносят, например, — что:

опера «Пророк», хотя была переделана под заглавием «Giovanni di Leide», запрещена, по содействию в высшей степени возмутительного духа; но при Дворе интригуют, чтобы эта опера была представлена;

сын командира лейб-гвардии Горского полуроты полковника *Анзорова*, воспитывавшийся в 1-м кадетском корпусе, бежал к Шамилю;

на Московской железной дороге пассажиров заставляют снимать шляпы;

маркиза *Виргиния Боцелла*, побочная дочь одного из князей Эстергази, — в тесной связи с *Анатолием Николаевичем Демидовым*;

в Россию едет перчаточник *Журдан* с преступными поручениями от заграничных злоумышленников;

певец Итальянской оперы *Формез* ужасный революционер, он в Германии и Швейцарии везде был первый на баррикадах, и есть даже гравюры, его изображение со знаменем на баррикадах;

помещик Вилькомирского уезда *Ляхницкий*, живя в несогласии с соседним помещиком графом Коссаковским, приказал поймать на своем поле крестьянскую лошадь графа Коссаковского и своими руками отрезал ей ноздри, половину языка и между ребрами кусок мяса, отчего та лошадь вскоре сдохла;

в Варшаве одна женщина родила ребенка с птичьей головою и рыбьим хвостом;

канцелярист в уголовном надворном суде *Корюханов* отрезал себе ножницами язык;

граф Дмитрий Николаевич *Шереметев* имеет преступную связь с сестрою покойной его жены, девицею Варварою Сергеевною *Шереметевою*;

отставной поручик *Неверов* в Александринском театре наговорил дерзостей статской советнице Сокольской, оскорбляющих честь ее;

к арестованному литератору *Тургеневу* допускались посетители;

Хаджи-Мурат бежал, но на другой день его поймали и убили;

купеческий сын *Блохин* в религиозном заблуждении разбил Святейший Синод самыми дерзкими и неприличными словами; совращал его рыбинский мещанин *Маслеников*;

в Министерстве внутренних дел составилась *Красный* департамент: министра окружили *Милютин*, *Мордвинов*, *Арапетов*, *Надеждин* и *Гвоздев* — все они люди чрезвычайно либеральной мысли;

желание публики слышать г-жу *Вьярдо* так велико, что в первое ее представление все коридоры в театре были полны в том уповании, что кто-нибудь из имеющих кресла умрет или занеможет;

во Владимирской губернии застрелилась девушка *София Иванова*, проживавшая несколько месяцев в доме помещика Дубенского под именем мальчика дворянина Васильева;

в маскераде в Дворянском собрании испанка *Лопес* подошла к французенке *Люджи*. *Люджи* сказала ей: «*Que! villain masque!*» *Лопес* за это ударила ее по щеке и обратилась в бегство. *Люджи* догнала ее и дала ей несколько толчков ногою по задку;

отставной подполковник *Антонов* шел ночью по Большой Мещанской и остановился помочиться у будки часового; Часовой требовал, чтобы он этого тут не делал; Антонов ударил часового; часовой арестовал Антонова.

Пуды, буквально пуды вздора — сплетен, слухов и клевет. И ни от одной, ни от самой грязной бумажки не отмахнешься: на Высочайшее имя, с пометой: «по Третьему отделению».

Конечно, большая часть все равно сплавлялась в полицию, — но не безвозвратно: дело-то заведено, а кто завел, тому и закрывать. Вы только представьте себе объем межведомственной переписки. Заодно и картотеку.

А весь штат Отделения — душ двадцать пять, от силы! Это считая графа и самого Л. В. Это считая писцов и перлюстратора. Это с театральной цензурой.

(Корпус — дело иное: там генералы, штаб- и обер-офицеры, унтеры, не говоря о рядовом составе; 26 только музыкантов, а лошадей строевых — тысячи; но то — войско, а то — сыск.)

Словом сказать, на весь канцелярский урожай один Л. В. был и молотилка, и веялка, и мельничный жёрнов. Притом что с плевелами управлялся единолично, а злаки сохранял и проращивал. Чтобы, значит, непосредственный начальник чувствовал себя необходимым и чтобы глава государства ни минуты не скучал; с увлечением чтобы воспитывал нацию, снабжая Дубельтовы сюжеты развязками.

Вот хотя бы насчет девицы *Шереметевой*: ей приказано выехать из дома графа и жить при матери; а ежели будет продолжать связь с графом — в монастырь.

Князя Сергея *Трубецкого* — за то, что увез на Кавказ жену статского советника Жадимировского, — лишить орденов, княжеского и дворянского достоинств, полгода выдержать в крепости, потом — рядовым в Петрозаводск, и только лет через сто, не раньше — героем в роман Окужавы.

За испанкою же *Лопес* государь повелел иметь строгий надзор — «ибо заграничные злодеи присылают к нам различных шпионов и всякое средство к исполнению их преступных замыслов считают позволительным».

И с коллежским советником камер-юнкером *Балабиным*, который под предлогом излечения болезни отправился за границу, а там принял католическое исповедание и вступил в орден иезуитов, — поступить с ним по всей строгости законов.

А зато крестьянина Владимирской губернии *Василия Гаврилова*, приговоренного к пятидесяти ударам плетью за слова «У нас нет государя», — простить.

И каждому приговор объяви, братец Л. В., по возможности лично и как только ты умеешь: с отменной, как бы участливой вежливостью; как бы утирая слезу несчастного невидимым миру носовым платком; уж ты-то не забудешь предложить даме воды, офицеру — сигару. Всякий должен увидеть в тебе «чиновника, который может довести глас страждущего человечества до Престола Царского и беззащитного и безгласного гражданина немедленно поставить под Высочайшую защиту Государя Императора...»

Самое смешное, что Дубельту за всю эту суету не платили ни копейки. Он получал только военное жалование — как начштаба Корпуса (3900 серебром в год; впоследствии, впрочем, прибавили). Назначая его управлять по совместительству Отделением, царь как-то не подумал, что двойную нагрузку следовало бы подсластить. Подчиненные, прознав об этом, составили было на имя графа ходатайство: дескать, как же так? любимый руководитель, тяжкое бремя, без вознаграждения... Но Л. В. не допустил; на документе надписал: в архив! хранить вечно! пусть видят, до чего дружный был в нашем Отделении коллектив.

«Пусть преемники наши читают! Не постыжусь сказать, что, читая эту записку, я прослезился! Моя преданность, уважение и благодарность к моим сослуживцам за их усердие и честную службу еще бы увеличились, если бы это было можно, так тронул меня их благородный порыв и их ко мне внимание. Но согласиться на их желание не могу, как потому, что, имея хорошее состояние, благодаря доброй жене, мне отрадно служить государю, не обременяя казны, так и по той причине, что при вступлении в управление III Отделением, его Величество не соизволил на назначение мне по этой должности жалования, — а воля нашего царя всегда была и будет мне священна».

Это была его излюбленная поза: рыцарь, безупречный, весь в голубом. Как-то пожаловался графу (Орлову), что иностранная пресса придумывает гадости: «что мой отец был еврей и доктор; что я был замешан в происшествии 14 декабря 1825 года... что моя справедливость падает всегда на ту сторону, где больше денег; что я даю двум сыновьям по 30 тысяч рублей содержания, а молодой артистке 50 тысяч — и все это из получаемого мною жалования 30 тысяч рублей в год.

Я хочу завести процесс издателю этого журнала и доказать ему, что отец мой был не жид, а русский дворянин и гусарский ротмистр; что в происшествии 14 декабря я не был замешан, а напротив, считал и считаю таких рыцарей сумасшедшими, и был бы не здесь, а там, где должно быть господину издателю... что у нас в канцелярии всегда защищались и защищаются только люди неимущие, с которых, если бы и хотел, то нечего взять; что сыновьям даю я не по 30, а по 3 тысячи рублей, и то не из жалования, а из наследственных 1200 душ и т. д.

Как Ваше Сиятельство мне посоветуете?»

Граф, естественно, показал это письмо государю; тот, естественно, передал — плюнуть и растереть: «не обращать внимания на эти подлости, презирать, как он сам презирает»; ни до какого суда, разумеется, не дошло.

Но вообще-то у Николая Павловича память была превосходная; что Л. В. в молодости был масон, либерал, крикун, что в декабре 1825-го действительно привлекался, хотя и без последствий, — что немного лет назад через того же Орлова был спрошен: большим ли располагает состоянием? — и запальчиво уверял: никаким, все записано на жену, — что и спрошено-то был неспроста, а в аккурат по случаю очередной актриски (в МВД тоже знали свое дело, и петербургская полиция тоже недаром ела хлеб), — одним словом, в головном мозгу самодержца имелось на Дубельта, как и на всех прочих, досье с компроматом.

Однако Л. В. обладал такой странной духовной фигурой, что при взгляде сверху казался дураком — неподдельным, круглым (граф Орлов так и говаривал *tête-a-tête*: ну и дурак же ты, братец!) — но за которым, как за каменной стеной; а зато люди, чья участь могла от него зависеть (а чья же не могла?) — видели в нем, как Герцен, что-то волчье, что-то лисье: «...Он, наверное, умнее всего третьего и всех трех отделений собственной канцелярии... Много страстей боролись в этой груди, прежде чем голубой мундир победил или, лучше, накрыл все, что там было».

Что у пом. зам. царя по режиму (так сказать, у генерального кума) бушевало в груди — разъяснилось только в начале XX столетия, когда попали в печать его дневники, плюс как бы морально-политическое завещание — «Вера без добрых дел мертвая вещь».

«Первая обязанность честного человека есть: любить выше всего свое Отечество и быть самым верным подданным и слугою своего Государя.

Сыновья мои! помните это. Меня не будет, но из лучшей жизни я буду видеть, такие ли вы русские, какими быть должны. — Не заражайтесь бессмыслием Запада — это гадкая, помойная яма, от которой, кроме смрада, ничего не услышите. Не верьте западным мудрствованиям; они ни вас, и никого к добру не приведут. — Передайте это и детям вашим — пусть и они будут чисто русскими, — и да не будет ни на вас, ни на них даже пятнышка, которое доказывало бы, что вы и они не любят России, не верны своему Государю. — Одним словом, будьте русскими, каким честный человек быть должен».

«Не лучше ли красивая молодость России дряхлой, гнилой старости Западной Европы? Она 50 лет ищет совершенства, и нашла ли его? — Тогда как мы спокойны и счастливы под управлением наших добрых Государей, которые могут иногда ошибаться, но всегда желают нам добра».

«Государь Наследник Цесаревич Александр Николаевич обручен. Виноват, эта партия мне не нравится. Принцесса Дармштадтская чрезвычайно молода, ей нет 16-ти лет. По портрету не очень хороша собою, а наш Наследник красавец. — Двор гессен-дармштадтский такой незначительный! Принцесса росла без матери, которая умерла, оставя ее ребенком. Не знаю, что-то сердце сжимается при мысли, что такой молодец, как наш Наследник, делает партию не по сердцу и себе не по плечу».

«...Про Александра Павловича говорили, что он был на троне — человек; про Николая надо сказать, что это на троне ангел — суший ангел. Сохрани только, Господь, его подольше, для благоденствия России. — Не нравится мне, что он поехал за границу; там много этих негодных поляков, а он так мало бережет себя! Я дал графу Бенкендорфу пару заряженных пистолетов и упрямил положить их тихонько в коляску Государя. Как жаль, что он не бережет себя. Мне кажется, что, принимая так мало попечения о своем здоровье и жизни, он сокращает жизнь свою — да какую драгоценную жизнь!»

«Когда же возвратится наша Цесаревна? Уж и она не хворает ли? Мне кажется, вся беда от того, что наши принцессы Великие Княжны рано замуж выходят. Мария Александровна венчалась 16-ти лет; Александра Николаевна 18-ти. Сами дети, а тут у них дети — какому же тут быть здоровью! — Крестьянки выходят замуж 16-17 лет, так какая разница в их физическом сложении! Крестьянки не носят шнуровок, едят досыта, едят много, спят еще больше, не истощены ни учением, ни принуждением. В них развивается одна физическая сила и потому развивается вполне, как в животных; но и тут, которая девка рано вышла замуж и много имела детей, в 30 лет уже старуха. — В большом свете гонятся за тонкой талией, за эфирностью и прозрачностью тела; а эти корсеты влекут за собою слабость и расстройство здоровья».

«Иностранцы — это гадки, которых Россия отогревает своим солнышком, а как отогреет, то они выползут и ее же и кусают».

«Хоть убей меня, а все-таки скажу, что, кроме русской, нет честной нации на свете».

«Хотя это честно и благородно — не преследовать всех иностранцев за то, что большая часть из них каналы, но, виноват, я бы всех послал к черту, ибо по моему мнению самый лучший иностранец похож только на самого подлого и развратного русского. Просто подлецы!»

Ну что тут скажешь? Только и скажешь вместе с Достоевским:

— Леонтий Васильевич был преприятный человек.

Тут, в этих текстах, не «умственное убожество», как некоторые решили. Тут невинность политического сердца. Точно сама матаме Коробочка вещает с того света. Патриотизм чистой воды.

Также не забудем, что Л. В., по обстоятельствам первой Отечественной, был выпущен из Горного корпуса четырнадцати лет от роду и с той поры ничему никогда не учился, только ездил верхом. А заступив на пост, не отлучался из Петербурга; в собственном имении побывал за двенадцать лет всего раз (провел шесть дней): не позволял себе оставить империю без просмотра.

Лично я подозреваю, что это Дубельт, а не Пушкин (посмертно вступивший с Дубельтом в родство: младший сын Л. В. женился на младшей дочери А. С., истязал ее, просто бил), — так вот, именно Дубельт, вопреки Гоголю (которому он отчасти покровительствовал), представлял собою «русского человека в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет». Советского без затей. Хоть сегодня в органы.

Однако ж не в главк. Интеллект — интеллектом, характер — характером, а тревожной злобы, сосредоточенной до системного бреда, в Дубельте не было (а в Николае I — была, и в каком-нибудь Липранди — была). Не верил он в существование внутреннего врага — не чуял, стало быть, опасности — отчего и вреда причинил сравнительно немного.

Во всяком случае, перед русской литературой Л. В. на Страшном суде оправдался бы легко. В самом деле:

что наружка в январе 1837 года упустила и Пушкина, и Дантеса, не предотвратила знаменитую дуэль — техническая накладка, нерадивость персонала, — да еще и неизвестно, стал бы Пушкин солнцем поэзии, не закатись вовремя; как раз Л. В. мог судить об этом лучше всех — его, по справедливости, надо считать первым в мире пушкинистом: изучил архив покойного насковзь, вплоть до черновики, — только письма Натальи Николаевны выцарапал чистоплюй Жуковский (не уразумев нравственный высший смысл этого посмертного обыска; смысл же состоял в том, что великодушнейший в мире монарх, оказав семейству писаки столько милостей, желал хоть задним числом удостовериться, что писака был их достоин, — его величеству горько было бы разочароваться; Л. В. же послужил в этом случае не больше как линзой, наведенной на измаранную бумагу: нет ли следов какого-либо недоброго чувства — нет ли какой насмешки, способной навредить царю в будущих веках? ведь литература хоть и дура, но распространяется во времени, как под толщей торфа — огонь);

что Николая Полевого превратили из властителя чьих-то дум в несчастную пишущую рептилию — тут Л. В. почти что ни при чем, это Уваров (минпрос) его ненавидел, а Третье отделение даже заступалось; и Л. В., между прочим, лично прислал бедняге за несколько дней до его смерти — три целковых; (никому не отказывал, обладая сердцем буквально золотым: «Одна только беда, — жаловался жене, — это то, что бедные разоряют меня, — ужас, сколько выходит ежедневно. Но я думаю, что копейка, данная нищему, возвратится рублем»);

Герцена отправили ненадолго в Новгород — так, во-первых, пусть не злословит полицию, а во-вторых, допустил же потом Л. В., чтобы Герцену выдали заграничный паспорт (и не мог этого себе простить; предлагал графу выкрасть этого Герцена из Лондона; говаривал: не знаю в моих лесах такого гадкого дерева, на котором бы его повесить; но ведь не выкрал и не повесил);

а Белинского пальцем не тронул (правда, собирался — да не успел; тоже сожалел: мы бы его сгноили в крепости! — но ведь не сгноил).

А, скажем, Лермонтову даже как-то поспособствовал: из какого-то полка перевестись в другой какой-то; Лермонтов доводился Анне Николаевне седьмой водой на киселе, но — через Мордвиновых, родством с которыми она чрезвычайно дорожила; кто же знал, что неблагодарный мальчишка сочинит эту дерзость — про голубые мундиры, всевидящий глаз, всеслышащие уши.

По собственной глупости погиб, и поделом.

А Шевченко... Нашли тоже о ком говорить.

— Надо было видеть Шевченку, вообразите человека среднего роста, довольно дородного, с лицом, опухшим от пьянства, вся отвратительная его наружность самая грубая, необтесанная, речь мужицкая, в порядочном доме стыдно было бы иметь его дворником, и вот этого-то человека успели украинифилы выказать славою, честью и украшением Малороссии!..

В сущности, одного лишь Достоевского (ну и поделньиков его, этих фурьеристов с Покровской площади) — из литераторов известных одного Достоевского Л. В. погубил лично. Да и то ведь не насовсем.

Положим, в этом случае, действительно, поступился принципами. Отдавал себе отчет, что каторга и солдатчина (не говоря о расстреле) за пустую болтовню — это отчасти слишком. Сам же записал в дневнике:

«Вот и у нас заговор! — Слава Богу, что вовремя открыли — Надивиться нельзя, что есть такие безмозглые люди, которым нравятся заграничные беспорядки. На месте Государя я бы всех этих умников туда бы и послал, к их единомышленникам; пусть бы они полюбовались; чем с ними возиться и строгостью раздражать их семейства и друзей, при том тратиться на их содержание. Всего бы лучше и проще выслать их за границу. Пусть их там пируют с такими же дураками, как они сами. Право, такое наказание выгнало бы всякую дурь и у них, и у всех, кто похож на них. А то крепость и Сибирь, — сколько ни употребляют эти средства, все никого не исправляют; только станут на этих людей смотреть, как на жертвы, станут сожалеть об них, а от сожаления до подражания недалеко. — Выслать бы их из России как людей, недостойных жить в своем Отечестве, как язву и чуму, к которой прикасаться опасно. Такие меры принесли бы чудесные плоды — впрочем, не мне судить об этом».

То-то и оно, что не ему было доверено. В этом деле — в так называемом впоследствии деле Петрашевского (у которого в гостях юные безумцы, да еще подстрекаемые подосланным шпионом,

врали напропалую, потчюя друг дружку дурачками — коммунистическими, представьте! — идеями) — в этом деле роль Л. В. была, можно сказать, страдательная. Генерал Липранди (из МВД) раздул это дело, желая выслужиться и Л. В. подсидеть. И его министр, граф Перовский, генералу Липранди подыграл — преследуя, впрочем, цель свою. Министр внутренних дел, даром что вельможа, лелеял такие тайные проекты, по сравнению с которыми петрашевщина была просто лепет невинного дитяти: исподволь внушал государю, будто в образе правления необходимы перемены; и что Третье отделение — орган якобы лишний; заикался даже насчет крепостного права — дескать, архаизм.

И генерал Дубельт, чьи мысли по этому предмету были государю известны («Пример западных государств не доказывает ли, что свобода разоряет народы? Они все свободны и в нищете страшной, отвратительной, возмущающей человеческие чувства, — наш народ не освобожден, а у нас нет такой нищеты, как на Западе. Они живут, как скоты, на улицах, под землей, а наши в избе, и на столе каравай; — следовательно, не счастливее ли наш народ народов свободных?»), — генерал Дубельт графу Перовскому — и графу Киселеву (мингосимуществ) — да целой партии сановников и придворных — мешал.

Без сомнения, эта-то партия и подвела интригу. Чтобы, значит, блаженной памяти Николай Павлович усомнился в генерале Дубельте как в гаранте госбезопасности. Мышей, дескать, не ловит — под самым носом опасный противуправительственный заговор проглядел.

И теперь вопрос стоял так: а точно ли был заговор? И ежели бы ответ оказался утвердительным, — мундир вопил бы каждой голубой ворсинкой: в отставку! ступай, Л. В., в отставку! — видно, и впрямь устарел, коли так оплошал.

К счастью, его включили в следственную комиссию. К счастью, комиссия не нашла никакого заговора — нашла, наоборот, провокацию.

«...Отдавая полную справедливость оказанной г-ном Липранди важной заслуге — продолжительным наблюдениям за Петрашевским и прочими лицами для передачи настоящего дела в Комиссию, при самом внимательном рассмотрении сделанных им суждений, Комиссия не могла с ним согласиться по следующим причинам:

...по самом тщательном исследовании, имею ли связь между собою лица разных сословий, которые в первоначальной записке представлены как бы членами существующих тайных обществ, Комиссия не нашла к тому ни доказательств, ни даже достоверных улик, тогда как в ее обязанности было руководствоваться положительными фактами, а не гадательными предположениями...

Организованного общества пропаганды не обнаружено, и хотя были к тому *неудачные* попытки, хотя отдельные лица желали быть пропагаторами, даже и были таковые, но ни благоразумное, прозорливое, годичное наблюдение г-на Липранди за всеми действиями Петрашевского... ни многократные допросы, учиненные арестованным лицам... ни четырехмесячное заключение их в казематах... ниже искреннее раскаяние многих не довели ни одного к подобному открытию...»

Липранди был посрамлен, Л. В. восторжествовал и упрочился; мальчишек же не могло спасти ничто, поскольку государь сразу же, заранее, до арестов еще, на предварительном докладе соизволил начертать: *«Дело важно, ибо ежели было одно только вранье, то и оно в высшей степени преступно и нетерпимо.»*

Так что облегчить свою участь Достоевский и другие могли только сами — смиренными, чистосердечными признаниями. К смирению Л. В. и склонял их на допросах. Как некоего Раскольникова — некий Порфирий Петрович (из романа, которого не прочел, будучи к моменту публикации мертв):

— Эй, жизнью не брезгайте! Много ее впереди еще будет. Как не надо сбавки, как не надо! Нерпеливый вы человек!

Достоевского Л. В. не уговорил — и просто вынужден был диагностировать недонос.

Что же касается стихов Достоевского: «На европейские события в 1854 году»

(Спасемся мы в годину наваждений,
Спасут нас крест, святая вера, трон!
У нас в душе сложился сей закон,
Как знаменья побед и избавлений!

И т. п. В смысле: каторгу отбыл — исправился — не сжалитесь ли? — еще на четыре года в батальон — жестокость ненужная!)

— то не мог же Л. В. позволить напечатать такие бездарные вирши. Пускай его послужит, пока не докажет искренность чувств по-настоящему художественным текстом.

Короче, генерал Дубельт был не какой-нибудь великий инквизитор, — а педагог, моралист, резонер.

Вслух и напоказ презирал не только евреев и поляков (это само собой) — но и сексотов и стукачей (продажны), подследственных (говорливы) и осужденных (ни капли самолюбия); вообще всех, кто перед ним трепетал (а кто же не трепетал?) — за то, что трепещут.

Распускал о себе анекдоты в этом духе. Агенты пересказывали, мемуаристы запоминали:

«... Кавалерийский генерал, бывший в особой милости Николая, потому что *отличился* 14 декабря офицером, приехал к Дубельту со следующим вопросом: «Умиравшая мать, — говорил он, — написала несколько слов на прощанье сыну Ивану... тому ... несчастному... Вот письмо... Я, право, не знаю, что мне делать?» — *«Снести на почту»*, — сказал, любезно улыбаясь, Дубельт».

Сценка славная: жандарм дает урок благородства лейб-гвардейцу. Герцен, записывая, словно запамятовал — или вправду не знал, — что всю корреспонденцию для *несчастных* почта неукоснительно доставляла куда полагается (а вы думали — во глубину сибирских руд?) — что-бы Л. В. разобрался с нею по существу.

Да, занимался ерундой — давил людей почем зря, как букашек, — не по собственной воле, а как сапог на ноге Железного Дровосека, — но при этом ведь полагал, что исполняет священную миссию, спасает Россию.

Вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире: Боже, так сказать, и Дубельте! царя храни!

Но никто не оценил. Как бы никто не знал (не хотел никто знать!) — что Л. В. был главный (сразу вслед за государем Николаем Павловичем) положительный герой своего времени, лучший (по государе) человек в стране. Одна лишь Анна Николаевна, земля ей пухом, находила верные слова:

«В разговоре моем со старостами, в вечер твоего отъезда, первое мое слово начиналось так: «А что! Каков ваш барин?» И каждого из них ответ был следующий: «Ах, матушка, кажется, таких господ, да даже и таких людей на свете нет» — ты, конечно, догадываешься, что я вполне согласна с ними... Это такое блаженство наслаждаться такою беседою, как твоя. Столько ума, даже мудрости в твоих суждениях, что весь мир забудешь, слушая тебя...»

Вздумай Л. В. показать хоть кому-нибудь такое письмо, не вздев на лицо снисходительной усмешки, — тотчас разнесли бы, что у него *mania grandiosa*.

А добрались бы до дневника: Поприщин! закричали бы, как есть Поприщин! То-то и плетут, будто его матушка была испанская не то принцесса, не то маркиза; он, должно быть, этому верит сам. Смотрите, какой тон:

«Надо стараться, чтобы в нас славили и милость беспримерную, и приветливость, и смирение ангельское, и чтобы презирать и огорчать людей было бы мукою для нашего сердца...»

Светская чернь только и делала, что преследовала его гадкими сплетнями: про воспитанниц театрального училища, про подпольный игорный дом, — и что будто бы он берет взятки. Как если бы *Его превосходительство Любил домашних птиц И брал под покровительство Хорошеньких девиц!!!* — это про него.

Да, бывало, расслаблялся за кулисами биографии. Но был одинок, был несчастлив. Жаждал любви — а никто не любил, кроме жены, — только арестованные.

Когда до них доходило, что перед ними — не безжалостный враг, а офицер и джентльмен, способный понять буквально всё, олицетворенная лояльность, — каким восторгом надежды озарялись бледные, искаженные страхом лица!

В этих мизансценах, в этих диалогах Л. В. наяву чувствовал себя вторым Николаем Первым.

Который — увы! — при всей своей пронизательности, видел в генерале Дубельте всего лишь верного Личарду, а не собственного двойника, столь же добродетельного без страха и упрека. Чего же было ждать от всех других?

Когда умер Николай Павлович и ушел на повышение, в Госсовет, граф Орлов, и Л. В. предложили возглавить Отделение (неприлично было бы не предложить), — разве кто-нибудь слышал в его ответе отзвук затаенной мечты? А ведь он сказал (поддавшись, впрочем, слабости) ясней ясного: на этом посту должен стоять человек богатый, человек с титулом!

И что же? Пожаловали графом? Не тут-то было. Еще и пошутили: ну, раз ты такой Дон-Кихот...

Так и кончились карьера и фортуна.

Остался на этажерке бюстик, и под ним — листок бумаги с текстом:

*Быть может, он не всем угоден,
Ведь это общий наш удел,
Но добр он, честен, благороден,
Вот перечень его всех дел.*

Самого Жуковского, Василия Андреевича, имейте в виду, стихи.

ИСТОРИЯ КУСТА

Странен, отчасти забавен, почти что жалок взрослый человек (не обязательно с длинной белой бородой! не обязательно в длинной белой блузе! вообще не обязательно собственной персоне Лев Толстой), задумчиво так составляя среди распаханых полей букеты из сорняков: «красные, белые, розовые, душистые, пушистые кашки; наглые маргаритки; молочно-белые, с ярко-желтой серединой «любишь-не любишь» со своей прелой пряной воонью; желтая сурепка с своим медовым запахом» и т. д.

Смешно в 68 лет мечтать, даже — что напишете новое замечательное, — даже если вы действительно Лев Толстой.

А захотелось ужасно: сразу отчетливо представился пронзительный финал и — выведенный как бы спицей по воздуху — неизбежный к финалу путь — не то чтобы сцена за сценой, а скорей вообще прерывистая длительность, или воображаемый прозрачный объем, благоустроенный предчувствуемым ритмом.

То же и главное лицо — мучительно живое в пыльном, багрово-зеленом иероглифе внезапной подсказки: в этом бросившемся нечаянно в глаза — или брошенном? — кусте чертополоха, он же репей, бодяк, волчец, осот, он же мордвин, татарин, *мурат*.

«Один стебель был сломан, и половина его, с грязным цветком на конце, висела книзу; другой, хотя и вымазанный черноземной грязью, все еще торчал кверху. Видно было, что весь кустик был переехан колесом и уже после поднялся и потому стоял боком, но все-таки стоял. Точно вырвали у него кусок тела, вывернули внутренности, оторвали руку, выкололи глаз. Но он все стоит и не сдается человеку, уничтожившему всех его братий кругом его».

Это случилось в имении Пирогово (35 км от Ясной Поляны), 18 июля 1896 года среди бела дня: нелепому старику с букетом явился на обочине проселочной дороги призрак. И молча крикнул ему прямо в угрюмые мысли: врешь, еще не кончено! не все кончено! И старик почувствовал — должно быть, последний раз в жизни — жаркий восторг. Такой, как если бы оставалось еще на что-то надеяться, и это что-то зависело от силы его желания, и эту-то силу в нем разжигал своим примером неистребимый ботанический инвалид. «Отстаивает жизнь до последнего, и один среди всего поля хоть как-нибудь, да отстоял ее», — думал старик, запоминая свои слова. И сказал кусту:

— Молодец! Так и надо, так и надо!

Куст был необыкновенно похож на то, что осталось в памяти от когдатюшних кавказских, сорокапятилетней давности разговоров про последний бой одного знаменитого горца, Хаджи-Мурата. И — главное! — на то, как он сам, старик на пустынной дороге, Лев Толстой, понимал жизнь и за что любил.

Этот чертополох явно поджидал здесь именно его; но изображал (с явным вызовом и не актерски талантливо) почему-то двоих — Льва Толстого и Хаджи-Мурата. Того и другого сразу. Оставаясь растением. Но заключая в себе и даже как бы излучая некий волнующий смысл.

Который нельзя же не попробовать выразить письменно, раз уж вы действительно все еще Лев Толстой.

2.

И он попробовал. Взаясь через три недели, написал за три дня почти без помарок, назвал «Репей». Небольшой такой рассказ.

Ровно через месяц перечитал — не понравилось. Даже править не стал.

Еще через месяц, в конце октября, опять перечитал — «не то».

Дальше — триллер (см. соответствующий трактат А. П. Сергеевко, несравненного специалиста). Коротко сказать — шесть лет. Десять редакций текста. В десятой, канонической, некоторые главы Толстой переделывал по два и по три раза, первую — одиннадцать раз. Первое предложение — пять раз, второе — трижды.

В самый последний раз физически дотронулся до рукописи 19 декабря 1904 года.

Но про себя, в уме — продолжал «Хаджи-Мурата», я полагаю, до самой смерти. За месяц до нее, 3 октября 1910 года, заснув днем, никак не мог очнуться (домашние подумали: удар; Софья Андреевна в соседней комнате молилась: «Господи! Только бы не на этот раз, только бы не на этот раз!») — но и в беспмятстве какой-то текст не давал ему покоя:

«Лежа на спине, сжав пальцы правой руки так, как будто он держал ими перо, Лев Николаевич слабо стал водить рукой по одеялу. Глаза его были закрыты, брови насуслены, губы шевелились, точно он что-то пережевывал».

Вряд ли этот текст был не «Хаджи-Мурат».

3.

Спрашивается: из-за чего так мучился (хотя бывало и наслаждение)? Возился дольше, чем с «Карениной». Что не ладилось, не клеилось? Почему вдохновение так долго не ловилось после первого сеанса? Ведь еще тогда, в «Репье», все самое важное из нынешнего «Хаджи-Мурата», все незабываемое уже существовало.

Там были: куст чертополоха; последний бой Хаджи-Мурата; его отрубленная голова. Также крепость Воздвиженская, майор и спутница его жизни; последние двое — в главных чертах. Уточнить, уплотнить, округлить, и — чего еще Толстому было надо?

А надо ему было, судя по всему (точней — судя по направлению движения), не более, не менее, как душу Хаджи-Мурата, его личную бессмертную сущность. Имелись же на бумаге только наружность и приемы поведения, притом поведения в чуждой среде (а наружность — глазами врагов). Плюс краткая биография, верней — досье, составленное из отрывочных сведений, мелькнувших в прессе. Ну и заключительные часы, минуты, секунды. Мало, казалось Толстому, — мало, мало!

«Для того чтобы понять, как он умер, надо рассказать, кто он был».

Потом оказалось необходимым, кроме *как* и *кто*, расследовать и разъяснить — *отчего*.

Но не удавалось. И в конечном счете — скажу сразу — не удалось. И даже не понадобилось. Для достигнутого результата — никем ведь не превзойденного! — достаточно было сосредоточиться на *как*. Но результат, полученный таким путем — кратчайшим и поэтому сомнительным, — Толстого не устраивал.

В самом деле, отчего погиб Хаджи-Мурат? Разберем на звенья всю цепочку, как бы снизу вверх. От вызванной раны кровопотери? От причинивших ранения пуль? Оттого, что какой-то татарин указал преследователям (у которых были ружья, заряженные этими пулями) рисовое поле, посреди которого Хаджи-Мурат укрылся в кустах? Оттого, что весной рисовые поля бывают залиты водой, так что и на лошади проедешь только шагом?

(Какая тяжесть в этих косных фразах, где сюжет на полной скорости внезапно тормозит! «Лошади со звуком хлопанья пробки вытаскивали утопающие ноги в вязкой грязи и, пройдя несколько шагов, тяжело дыша, останавливались. Так они бились так долго, что начало смеркаться, а они все еще не доехали до реки».)

Stand up! Как он попал на это рисовое поле? Ответ: заблудился. Но как же он мог заблудиться? Не разведал, выходит, дорогу, не озаботился проводником? (Из тех, предположим, лазутчиков, что приходили в крепость накануне.) Опытнейший полевой командир — как же так? Выбирался-то из гор со всеми предосторожностями, — а обратно в горы рванул на авось?

Очевидные ответы: побег решен в последнюю минуту — точней, глубокой ночью, когда лазутчики давно уже ушли; Хаджи-Мурат не доверял этим лазутчикам и вообще никому, кроме своих мюридов, или, как их там, нукеров; привык полагаться на свою удачу. Не очевидные: мусульманский фатализм; подсознательное влечение к смерти.

Не очевидные каждый взвешивает сам, без помощи автора. Насчет очевидных: точно ли Хаджи-Мурат совсем не готовился к побегу? разве? а порох, пули? боеприпасы-то приобретены заранее! Причем — у солдата, тут же, в гарнизоне, так что если говорить о конспирации, то риск, что солдат, проспавшись, донесет или, наоборот, по пьяной лавочке проболтается, — тоже

был достаточно высок. А касательно веры в счастливую звезду, — я и говорю: не что иное, как собственная беспечность — неосторожность, непредусмотрительность, называйте, как хотите, — завела Хаджи-Мурата на рисовое поле. Однако же прежде, насколько мы знаем, он таких просчетов не допускал; остается одно: всему виной — страшная спешка.

Что же он узнал той ночью такое новое и страшное, не терпевшее отлагательства, принудившее порушить и всю эту затею с переменной фронта, и клятву, данную русским начальникам (сделавшись, таким образом, теперь уже дважды предателем, дважды бесчестным: и для туземцев, и для колонизаторов), и стремглав броситься восвояси, не зная броду?

Написано так: «Друзья его, взявшие выручить семью, теперь прямо отказывались, боясь Шамиля, который угрожал самыми страшными казнями тем, кто будут помогать Хаджи-Мурату».

Поразительная ошибка мастера! Упустить, позабыть заготовленный сильнейший ход! А все оттого, что сам уже запутался в бесчисленных вариантах. Ведь у него была уже сцена, в которой Шамиль велит сыну Хаджи-Мурата, Юсуфу, написать отцу, что если тот не воротится, Юсуфу вырвут глаза!

Самый посредственный беллетрист, любой начинающий сообразил бы: пускай лазутчики доставят Хаджи-Мурату послание сына как раз в эту роковую ночь. И отчаянная поспешность — и холодная жестокость — последовавших действий были бы мотивированы сильнейшим аффектом.

Толстой ограничился повторением ходов — и возникает вроде как *deja vue*: кончается глава XXII (а всего двадцать пять), наступает ночь на 9 апреля 1852 года, — но ситуация та же, какой была 23 ноября 1851-го, в главе I — когда кунак и родственник рассказывал Хаджи-Мурату, «что вчера только уехали посланные Шамиля, и что народ боится послушаться Шамиля, и что поэтому надо быть осторожным».

Уже тогда семья Хаджи-Мурата была в руках у Шамиля. Уже тогда было ясно, что Шамиль вряд ли ее отпустит, а если Хаджи-Мурат не сдастся, — точно не пощадит. Тем не менее, Хаджи-Мурат не стал и пытаться освободить семью, а бежал в расположение русских войск. Бежал, потому что люди Шамиля преследовали его по пятам, и местное население им помогало, а у самого Хаджи-Мурата — только четверо вооруженных да какие-то не известные нам тайные сторонники (он уверял князя Воронцова, что — влиятельные) где-то в аулах Аварии.

Оставшись в горах, он не мог выручить семью, а перейдя к русским — мог. Либо отбить вооруженной силой (частью наняв, частью завербовав исполнителей при посредстве упомянутых друзей), либо — выкупить: русские отдадут Шамилю захваченных ими боевиков (и в придачу некоторую сумму денег) — Шамиль отдаст русским семью Хаджи-Мурата — ну а там посмотрим.

Что же изменилось к XXII главе? Только одно: выяснилось окончательно, что первый план неосуществим. (А также — но это как-то между прочим, — что Хаджи-Мурату откуда-то известно: Шамиль пригрозил ослепить его сына, «отдать по аулам» мать и жену.)

Что же делать? Сосредоточить все усилия на осуществлении другого плана? Нет, совсем наоборот: «надо бежать в горы и с преданными аварцами ворваться в Ведено и или умереть, или освободить семью».

Но позвольте, позвольте — с какими преданными аварцами? Они же вот только что наотрез отказали в поддержке, да еще под таким беззастенчивым предлогом: бояться! Это друзья — как же надеяться увлечь за собой кого-то еще? Тем более теперь, когда в глазах своего народа Хаджи-Мурат — изменник? Если не было такого шанса в главе I, то теперь и подавно.

Стало быть, решение, которое Хаджи-Мурат обдумывал всю ночь, — не опирается на анализ каких-то новых обстоятельств. Это вообще не вывод, просто шаг — чисто импульсивный, а притом и легкомысленный: никакого следующего не предполагает, даже в случае успеха.

«Выведет ли он семью назад к русским, или бежит с нею в Хунзах и будет бороться с Шамилем, — Хаджи-Мурат не решал. Он знал только то, что сейчас надо было бежать от русских в горы».

Мы-то видим: ни в этот самый Хунзах (как раз откуда он изгнан) ему дороги нет, ни русские не поверят ему во второй раз, если сейчас он обманет.

А Хаджи-Мурат ничего этого словно не понимает!

4.

Вот над чем Толстой бился: известные ему реальные факты не раскрывали, кто был этот человек. Кроме подвигов невероятной храбрости, прочее все бессвязно. Ведь по биографии-то «Зарубежные записки» №6/2006

не просто башибузук, и не просто один из партизанских предводителей, но и политик, администратор. Управлял Аварией то как ставленник русских, то как наиб Шамиля, еще прежде вращался при ханском, так сказать, дворе, — все это требовало не только харизмы, но и выдержки, но и ловкости ума, но и способности к дальновидному расчету.

Поэтому легко было Толстому писать Хаджи-Мурата и в компании армейских офицеров, и в гостинной младшего Воронцова, и даже на балу у Воронцова-старшего: осанка достоинства, учтивость, невозмутимость; молчалив и подозрителен, вечно настороже; но приветлив с теми, кто к нему расположен и т. д.

А вот, к примеру, из-за чего Хаджи-Мурат рассорился с Шамилем — не вычитать было нигде, и никак не вообразить. Насилу придумалось — и не то что неправдоподобно, а как бы высунулся из текста другой какой-то человек: отнюдь не умеющий держать язык за зубами. Простодушный рубака, хвастливый восточный князек:

«Но тут случилось то, что у меня спросили, кому быть имамом после Шамиля? Я сказал, что имамом будет тот, у кого шашка востра. Это сказали Шамилю, и он захотел избавиться от меня...»

То-то и есть. Основная проблема истории Хаджи-Мурата: вдумываясь: отчего в ней случилось то или другое, — теряешь из виду того, с кем случилось, — вот именно, кто он.

Не вздумай он вернуться в горы, не погибни при этом возвращении, да не прояви перед гибелью такой героизм — был бы обыкновенный предатель, без всякой истории.

В свое время, в 1851-м, молодой граф Толстой, сообщая брату кавказские новости, так и высказался, поскольку предвидеть будущее не умел: «...Второе лицо после Шамиля, некто Хаджи-Мурат, на днях передался русскому правительству. Это был первый лихач (джигит) и молодец по всей Чечне, а сделал подлость».

Но вторая (так сказать, возвратная) измена, совершенная к тому же с мужеством прямо нечеловеческим, — она-то и создала историю Хаджи-Мурата.

На первый взгляд, совершенно бессмысленную. Но совершенно бессмысленных историй не бывает, хотя бы потому, что они не поддаются изложению. Значит, и в этой следовало разыскать какую-то логику.

В армии, да и вообще в России, было решено, что авантюра Хаджи-Мурата была не что иное, как разведоперация: по заданию Шамиля разыграл перебежчика, высмотрел, сколько у завоевателей живой силы и техники, да где что размещено, — и давай Бог ноги. А Воронцов-старший лопухнулся, и только счастливая случайность помешала шпиону благополучно скрыться.

Логично, не правда ли?

Толстой не стал унижаться до прямых возражений, типа: что такого мог Хаджи-Мурат высмотреть, чего инсургенты не знали? мало, что ли, было у них соглядатаев в каждом населенном пункте, занятом войсками? какой смысл ради порции разведанных жертвовать авторитетом одного из главных руководителей народной войны? или Шамиль рассчитывал, что русские генералы посвятят Хаджи-Мурата в свои стратегические разработки? К тому же стратегия эта была у горцев как на ладони: рубить леса, сжигать аулы — вот и вся стратегия, но страшной ее не было ничего (не зря Николай I так ею гордился). Аборигенам, чтобы догадаться, что империя не успокоится, пока не отнимет у них всю свободу (и по ходу дела много жизней), не нужна была разведка. Об ответном наступлении речь не шла. Для подготовки же мелких вылазок хватало, повторимся, сведений, приносимых так называемыми мирными или своими в обличье мирных, — зачем посылать такого знаменитого и ценного человека, как Хаджи-Мурат?

Вот разве что, втершись в доверие, он завел бы русскую армию, как Сусанин — поляков, — куда-нибудь в долину Дагестана, где их ждали бы и перебили. Но если имелось такое намерение, зачем он не попытался его исполнить? куда спешил?

От всех этих глупостей Толстой отмахнулся. И построил поведение Хаджи-Мурата на двух опорах — на гордости с честолюбием, с одной стороны, и на любви к матери и старшему сыну — с другой. На привычке к военным победам и — за них — к власти и почету. И на постоянной внутренией связи с двумя людьми, присутствие которых ощущается как счастье.

Шамиль рубит обе опоры. Шамиль — враг.

Русские вуюют с Шамилем. Врагу Шамиля они охотно помогут. Русские, значит, — союзники. Им нужны его победы, верней — одна победа: над Шамилем. Ему тоже нужны победы, и над Шамилем — особенно. Еще нужней, причем гораздо нужней — чтобы семья находилась в безопасности. Вот, значит, всё и сходится в тот самый второй план спасения своих, о котором я уже говорил.

Русские отдадут Шамилю захваченных ими боевиков (и в придачу некоторую сумму денег) — *Шамиль отдаст русским семью Хаджи-Мурата, и за это Хаджи-Мурат покорит русскому царю Кавказ, победив и прогнав Шамиля.*

Курсив здесь для того, чтобы наглядней было, какой это вздор.

Если Хаджи-Мурат действительно верит в этот план, — значит, он совсем не понимает положения.

Воронцов, европеец, понимает — и прямо говорит Хаджи-Мурату, «что Шамиль ни в каком случае не выдаст ему семейства».

Чернышев за две тысячи верст, в Петербурге, и то понимает — и советует императору сослать Хаджи-Мурата вглубь России, чтобы Шамиль не мог шантажом выманить его обратно в горы.

А Хаджи-Мурат как слепой. Или как во сне. О чем-то просит, что-то обещает, чего-то ждет, — как будто есть и у него какое-то будущее время. Так верит в свою свободу рыба, которую подсекли, но еще не тащат.

Боль в жабре чувствует, — но что крючок привязан к леске, а леска — к удилищу, а удилище — в руках у кровожадного врага, — это где-то за пределами кругозора.

Возможно ли, логично ли, чтобы взрослый (1812-го г.р.) человек, военный человек, политический человек, — был настолько наивен?

Наверное, да — потому что если это невозможно и нелогично, то история опять рассыпается; в ней не сохраняется ни малейшей искры смысла: ради чего же, в конце-то концов, Хаджи-Мурат предал свою родину?

Остаются еще, как мотивы, честолюбие и жажда мести. Ближе к финалу пересиленные привязанностью к родным.

Но чтобы утолить честолюбие и жажду мести, Хаджи-Мурат не делает ровно ничего. Только мечтает — перед сном или вместо сна. Как мальчик, начитавшийся романов, как герой «Белых ночей», как Обломов:

«Он представлял себе, как он с войском, которое даст ему Воронцов, пойдет на Шамиля и захватит его в плен, и отомстит ему, и как русский царь наградит его, и он опять будет управлять не только Аварией, но и всей Чечней, которая покорится ему. С этими мыслями он не заметил, как заснул».

Проснувшись, Хаджи-Мурат уйдет к русским. Через пять месяцев попытается вернуться. И тут опять *deja vu*. Он опять замечается, точно с такой же протяжной ленцой:

«Остаться здесь? Покорить русскому царю Кавказ, заслужить славу, чины, богатство?»

«Это можно», думал он, вспоминая про свои свидания с Воронцовым и лестные слова старого князя».

5.

Итак, — скажет критик, — сюжет не совмещается с характером героя!

Ну и бог с ним, с критиком. И с сюжетом. И даже с характером.

Человек, изображенный Львом Толстым, почти всегда больше своего характера.

То есть всегда — если он изображен с любовью.

Потому что когда кого-нибудь любишь, то не важно, какой у него характер, а важно только, чтобы он был всегда.

Как историческое лицо Хаджи-Мурат — загадка. Как литературный герой — неисправная кукла.

Но когда он идет к фонтану под горой, держась за материнские шаровары, — когда бесшумно взлетает, словно огромная кошка, в седло, — когда, вырвав из бешмета клоч ваты, затыкает себе рану и продолжает стрелять, — читателю так же, как и автору, нестерпимо знание, что существует смерть.

С этим чувством и ради этого чувства написан «Хаджи-Мурат»: с чувством, что реальность прозрачна, бесконечна, залита нежным светом и наполнена смертными существами, которым дано понимать друг друга посредством бессмертной любви.

И что эта реальность разрушается работой огромных невидимых машин, принуждающих все живое превращаться в мертвое.

Но что у него — лично у Льва Толстого — пока не отключились мозг и голос, — есть сила спасти многое и многих.

То-то он и умер таким молодым.

Помните, кстати, что проговорил напоследок?

Громко, убежденным голосом, приподнявшись на кровати:

— Удирать, надо удирать!

Смерть раздирала его на волокна, точно он был стеблем чертополоха, — но была еще какая-то мысль:

— Истина... люблю много... все они...

Больше ничего.